

## Вячеслав Раков



**Раков Вячеслав Михайлович** родился 31.10.1953 в городе Молотове (Пермь). Окончил исторический факультет Пермского государственного университета (1976). В 1976–81 гг. работал учителем истории в одной из пермских школ. С 1981 г. – преподаватель истфака ПГУ. В 1983–86 гг. учился в аспирантуре МГУ. Кандидат исторических наук. В настоящее время – доцент кафедры гуманитарных дисциплин Пермского филиала Высшей школы экономики. Публиковался в журналах «Несовременные записки», «Уральская новь», «Урал» и др. Автор монографии «Европейское чудо» (Пермь: Изд-во Пермского университета, 1999). Автор двух поэтических сборников: «Золотая игра» (Пермь: Фонд «Юрятин», 1996, 300 экз.) и «Число π» (Пермь, 2006, 500 экз.). Участник АСУП-1,2. Живет в Перми.

### Филологическая маркировка стихов В.Р.

**Традиции, направления, течения:** постакмеизм, медитативная лирика, философская лирика, метафизическая поэзия, метареализм, минимализм.

**Основные имена влияния, переклички:** Ф. Тютчев, О. Манделштам, В. Кальпиди.

**Основные формальные приемы, используемые автором:** экзистенциальная метафора, культурные реминисценции, самоирония, дозированный контраст «высоких» категорий и сниженной лексики.

**Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы:** философские категории (бытие, смерть, мысль), мыслительный процесс, духовное и религиозное чувство, образы мировой культуры и искусства, ментальное путешествие, поэзия, город (Пермь), городская мифология, зона, судьба.

**Творческая стратегия:** преодоление обиды и страха, изживание тяжести рокового предопределения, освобождение.

**Динамика:** в подборке 1 тома преобладает культурологическая тематика, происходит идентификация поэтического сознания в контексте миро-

вой культуры. В стихах 2 тома поэтическое «я» обретает более определенные биографические очертания в более реальном географическом пространстве (город, Пермь), при этом судьба лирического героя, вступившая в резонанс с символикой и мифологией места, образует общую для героя и города перспективу ментального пути: к преодолению страха (обиды, травмы, комплекса вины), раскрепощению, освобождению в общекультурном пространстве.

**Коэффициент присутствия:** 0,28

### АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в Перми 31 октября 1953 года. Точнее, в Молотове, как тогда называлась Пермь – страшноватом городе (мы, здешние, ушиблены Молотовым), состоявшем из заводов и барачков. Мой отец приехал на Урал с Дальнего Востока вслед за своим другом, с которым вместе служил во (на) флоте, да так здесь и остался. Оставшиеся ему 11 лет (из 34 отпущенных Богом) он работал слесарем на большом заводе. Мать до пенсии шила костюмы в швейном ателье. После смерти отца я жил в основном с бабушкой, вышедшей из часовенных старообрядцев. Мои самые теплые детские и юношеские воспоминания – это она, о ней. Ее звали Соломония. Затем она стала Соломией. А дальше сарафанное радио времени пере-



Сидит слева бабушка Соломония с сыном Владимиром, рядом – родственники



Мать, Ракова Екатерина Федоровна (1929–1987)

делало подлинное имя в обычное Софья, Соня. В коллективизацию их раскрестянили, они оставили разоренный дом и долгие годы скитались по разным углам, пока на полученном отцом от завода участке земли бабушка не построила дом: выписала лес, с помощью мужиков заготовила



Отец, Раков Михаил Гаврилович (1928–1963)

бревна для сруба, таскала воду для замешивания цемента, копала котлован. В этом доме я вырос и живу до сих пор.

Бабушка рассказывала мне о своем деревенском детстве: о том, как она переболела тифом в гражданскую, как ее сочли было мертвой, но она неожиданно открыла глаза и встала с лавки; о погибшем, затонувшем крестьянском мире Урала; о староверческой субкультуре – русской Атлантиде, ушедшей в илистое дно нашей истории, но все еще торчащей над ее поверхностью маковками своих скромных церквей, одну из которых, кстати сказать, староверы возвели недалеко от нашего дома несколько лет назад. У меня сохранились фотографии бабушкиной семьи 20-х годов – до коллективизации. Это уже не миф, но еще эпос: люди, принадлежащие Традиции, вымуштрованные и выпрямленные ею. На фотографиях 30-х ничего этого уже нет. На них – торжество люмпенизации, коллективный снимок «антропологического геноцида» (И. Бродский).

В 1971 году я окончил школу и поступил на исторический факультет Пермского университета. После 1968, как мы знаем, начиналось безвременье. С 1970-х мы, русско-советские, отдыхаем от нашего XX века. Над нашими студенческими столами плыла брежневская застольная. Тем не менее, до нас все же доходили голоса контркультуры 60-х, прежде всего, музыка: «Битлз» и все остальное. Мы слушали ее на катушечных магнитофонах, которые уже появились в магазинах. Мой сокурсник, представившийся как-то дзэн-тантро-буддистом (это в Перми-то!), занялся моим музыкальным просвещением. Благодаря ему я не только узнал, что существует другой мир – он дал мне это почувствовать. Это был мой первый культурный шок. Нет, второй. Первым был Достоевский, которого я, к счастью, не прочитал в школьные годы. Потом были Бодлер и проклятые поэты. Их я читал в областной библиотеке, покрываясь обильным нервным потом.

Потом я работал в школе («пять лет с правом переписки»). В то время я слишком много читал и слишком мало жил. В итоге выход в открытый социальный космос, космос общения стал моей личной проблемой, которую мне пришлось решать. Как ни странно, в этом мне помог Восток, ставший моей первой, но не последней любовью. Через него я вышел к людям: это были пермские паломники в Страну востока, читавшие Радхакришнана, Судзуки, Ошо, Дао дэ цзин, Юнга, Грофа etc. Большая часть этой литературы была перефотографирована и с типографским тщанием сброшюрована. У одной из моих знакомых «паломниц» был целый шкаф таких книг (и опять удивление: это в Перми-то?). Общение с ними вызвало уже не культурный шок, а миниатюрную такую инициацию, если я не лыщу себе, маленький такой выдох-смерть с последовавшим воскресным вдохом («аще зерно, падши в землю...»).

Регулярное умирание – самое терапевтичное из того, что я знаю.

В 1983 году я оказался в Москве, в аспирантуре МГУ, где оставался почти до 1987 года. Здесь я пообщался вволю. Впрочем, и почитать было что, в частности, там и самиздат. Мы читали запрещенные книги, сидя на торчке, потому что в комнатах главного здания МГУ сверху, от потолка вниз по стене, свисали какие-то странные трубки, похожие на объективы камер, и мы не решались, особенно по прочтении Дж. Оруэлла с его screens, утолять свое запрещенное любопытство прямо под ними. Вечерами мы выходили в парки, окружавшие высотку университета, и обменивались впечатлениями.

С конца 1986 г. я снова в Перми, где преподаю на историческом факультете. Мое возвращение на берега Камы совпало с перестроечным бра-вурным ажиотажем. Именно тогда я впервые соприкоснулся с живой литературной и художественной средой. С благодарностью вспоминаю мое общение с Виталием Кальпиди, Владиславом Дрожачих, Славой Смирновым, мои банно-литературные посиделки с Володей Абашевым. Вот тогда я и начал кропать стишки. Они капали и раньше, но я не могу их назвать даже стишками. Не хочу обманываться и обманывать: никакой я, разумеется, не поэт, ничего не пишется годами, а когда пишется, то это – *dixi et animam levavi*. Это одна из возможностей слегка «дать дуба», выйти вон и вернуться, нырнуть и вынырнуть – не больше. Я был и остаюсь свидетелем – тех, кто живет, кто пишет и, естественно, своим собственным свидетелем. Стихи для меня, конечно же, не профессия и уж тем более не призвание. Это весьма захудалая (в моем случае) и редко/резко неожиданная альтернатива молитве. Это попытка заговорить с реальностью на еще одном языке (мне кажется, лучше, если их несколько). Стихи интересны мне только этим, а не сами по себе. Это аналог глоссолалии – даже если в них все понятно. Они впрыскивают струйку кислорода в наш ожесточившийся, стесненный, исходящий тревогой и постоянным внутренним, ментальным шумом мирок, который мы называем миром. Поэзия – одно из доказательств того, что реальность – этот океан покоя, безмолвия и цельности – плещется за пределами наших представлений о своем «я» и вообще за пределами наших представлений.

В нулевые я по-прежнему преподаю. Кроме того, я старею, выхожу (не вхожу, нет) в интернет, получаю теологическое образование, выпиваю два бокала вина после субботней бани – вместе с богоданной супругой (ритуал – это важно). Еще я не теряю надежды на очередную внутреннюю перезагрузку: мы живы, пока мы меняемся. Пока мы живем впервые. В состоянии и положении включенного радара.

В качестве историка я вслушиваюсь в то, что происходит на все более сереющем белом свете. Вре-



В.Р. с женой, Андреевой Евгенией Николаевной

мя, как мне кажется сейчас, явно снашивается. На дворе сумерки модерна, осень современности. Ушла в прошлое религиозная и идеологическая серьезность модерна, вышла индустриальным и революционным паром его энергетика. Одрябли и уже совсем провисли этические мышцы современности. Ее пятисотлетний цикл (XVI–XX вв.) завершается, как водится, декадансом и тавтологи-ями. Известняется модерна рациональность, переходящая в схоластическую фазу, становящаяся откровенно имитационной, начетнической, цитатной. Ветшают социальные и экономические институты. Искусство, и поэзия в частности, редуцируются до факта, до чистой наличности, до единственной оставшейся нам реальности – реальности тела и быта. Здание современности практически разобрано. Мы подъезжаем к конечной остановке эпохи. А дальше – либо затяжное гниение, либо срыв в энтропию и неоархаику, либо, что все же более вероятно и более желательно, рождение новой матрицы, новой серьезности (энергетики), новой эпохи. И новой поэзии.

Инициаторами всего этого, хочу верить, будут новые, преимущественно правополушарные, мальчики и девочки. Раскованное воображение, имажинативный абсолют в сборке эпохи, как правило, предшествуют новой, обновленной рациональности. После приходят интеллектуалы, которые переводят новую образность в новые понятия, а затем и технологии. За этими приходят новые политики и администраторы, создающие институциональную оболочку новой эпохи. Но начинается все с человека. Человек – это софт, остальное – «железо». Если продолжение следует, новый человек не замедлит появиться.

Зачем я об этом? Затем, вероятно, что этот, если угодно, бред для меня сейчас более биографичен, чем все остальное. Им я и закончу.